

## Книга.

В жизни литератора есть бесконечно много самых обыкновенных, будничных споров, столь же скучных и однообразных, как и во всякой иной «жизни», но наряду с этим в ней повпорядится один, вечно обновляющийся праздник, — это книга.

В часы, когда десятки и сотни тысяч «деловых» людей мчатся в свои департаменты, канцелярии и конторы, — наскоро просмотрев утреннюю газету, берешься за книгу.

И тотчас начинают обступать бесконечные вереницы образов, мыслей и ощущений, погружая в атмосферу сгущенной жизни; и в течение нескольких часов, на протяжении сотни страниц, проходят события и лица, которых в обыкновенной, реальной обстановке или не встретишь никогда, или — случайно.

Тяжелый фолиант в сафьяновом переплете с писанными золотом буквами уносит тебя по ту сторону Средиземного моря, — и, бродя меж пирамид и сфинксов, следя за вьющимся орнаментом капакотб или за клинописью иероглифов, переключиваешь назад за тысячелетия, наблюдая мудрое однообразие жизни спершихся ныне из людской памяти народов.

Маленький томик, с продолговатыми страницами вскрывает тайну йогов, научая незримому и в зримом обнаруживая скрытость сокровенного, а плотный сухой *in quarto* том немецкой философии — бросает в темные и сирые извилины мысли свет логических построений.

В тихие, молчаливые, зимние вечера, когда слышно, как за окнами в полутемном арбатском переулке хрустит снег под ногами редких прохожих, как музыкант подходит к роялю или певец пробует мелодию — открываешь книгу стихов, и звучный сонет или певучее рондо, сладкая пряность новеллы итальянского кватроченто или очаровательная легкость поэзии Маллармэ — успокаивают грустящую душу.

Живя в столице, бываешь невольно посвящен во все изгибы книжного дела.

Слышишь о намечающихся изданиях, знаешь о печатающихся книгах знакомых и друзей и ждешь, когда в намеченный срок принесут свежий, пахнущий краской экземпляр, с автографом автора, который разрежешь с любовью и любопытством, заранее зная, кто делал фронтиспис, кто писал заставки, и пр., и пр.

В редакции иногда ждут неожиданности: среди присланных «для отзыва» книг вдруг обнаруживаешь какую-нибудь, невольно заинтересовывающую или темой, или именем автора, перелистываешь ее наскоро и, с тайными предчувствиями найди отзыв хлынувшим мыслям, бережно уносишь ее домой...

Бывают горькие разочарования: после первых же страниц швыряешь, обманувшую надежды книгу, пишешь злую рецензию.

Неожиданными открытиями дарит иногда и книжный магазин, куда заходишь изредка, чтоб посмотреть «новости». Эти находки бывают всегда интересней, нежели та жизнь книги, которая проходит на виду.

Увы!.. Спрашные годы, переживаемые нами, лишили нас слишком многого. И как знать: среди бесконечного ряда лишений в обычном бытии жизни, слишком остро ощущимых, — быть может, тяжелее всего ложится и на душу отдельного человека, любящего книгу, и на жизнь целого общества — эпох, развившийся до крайних пределов «книжный голод».

Ведь мы не знаем, в чем ждут нас последние и жестокие расплаты...

Но жуткое, почти невыносимое состояние испытываешь здесь в этих провинциальных городках при полном отсутствии книги.

Жизнь тихая, бесцветная, сто крат прославленная покоем, цвела беспрепятственно на неизблемых основах бытия. Книга была здесь вводным мотивом в медленной мелодии сна и не создала не только своей культуры, но и не оставила прочных следов своего бытия. Одна, две библиотеки на целый город, — с разрозненными изданиями.

В этой вынужденной оторванности, в этой невольной бездейственности, в маленьком провинциальном городке, в мечтах об очаровательном и умирающем Петрограде и о любимой, сжатой в тисках террористического насилия Москве — ощущаешь глубокую, неутолимую жажду о своей работе, о своем покое, о своем «деле» и в то же время наслаждении — о книге...

*Отечественные ведомости: Орган национальной и государственной мысли  
(Екатеринбург). № 10. 17(4) января. С. 2.*

Николай Тарабукин.

## Четыреста верст на перекладных (Отрывки из дорожного дневника).

### I.

Вот по туманным перегонам  
Гудят спальные провода,  
Встречают села тихим звоном  
И провожают — поезда.

Поля, запорошенные блестящим, хрупким снегом; заиндевелые леса, с опшенками фиолетового и синего в косых лучах зимнего солнца; холмы, повитые белыми пеленами, переливающимися радужными блестками; извивы дороги с гудящими телеграфными столбами; скрип саней встречных, медлительно ползущих обозов...

Утро вспаает все серебряное; села и аулы заплетают бесконечный дымный хоровод; и раскатившись по откосу, наши сани, со скрипом по мерзлому снегу, — вылетают из села снова в бесконечно-белые, едва окрашенные розовой негой восхода, поля и луга...

День много раз переменяет свои опшенки и то загорится веселыми переливами, словно под вдохновенной кистью яркого плянериста, или вдруг попускнеет, помутнеет, нахмурится и суровый, двупонный пейзаж севера виден долго и справа и слева.

Но вот:

И вечер медленный, склонясь к подножью дня,  
Кровавит горизонт...

Белые снега слились с белыми небесами и только там, далеко, на линии горизонта в огненных прорезях пекут в кровавых расплавах, переполненные лаллами, то скрываясь, то обнаруживаясь, багряные реки и озера расплавленных металлов.

Мы смотрим в эти огненные печи и видим, как Гермес <так, не «Гефест»> кует мечи, раздувая свой пламенный горн...

Но вот несколько судорожных всплесков и мертвающая лава заликает огненные озера...

День беспомощно склоняется и тихий, медлительный вечер, в озарении зеленого серпа, вселяет покой пространствам...

Дымит изба, ночлег готовя...

Аул татарский тих и нем...

И усалые за длинный день пупи мы останавливаемся на ночлег.

### II.

Вятские деревни неприветливы, бедны, пусклы. Старые расхлябанные юпятся они по откосам коричневатыми, неуклюжими, холодными, словно непопленными избами...

Вопьки нелюдимы, молчаливы, скупы. У них идиопичный вид и эпо с ними приходится вести, ставшие классическими, диалоги:

— Тетка, молоко есть?

— Молоко-по?

— Да...

— Надо быть есть...

— Так давай на спол кринку...

— Чего?

— Да... молока...

— Молока-по... Эпо вам что ли?

Эпо они, мобилизуемые красноармейцами, при первой же возможности, полпами сдаются в плен войскам российской армии, но эпо они же желают и обратное.

Эпо они самый ненадежный элемент на постах, заставах, секретных и эпо они чаще всего фигурируют в военно-полевых судах.

Им приходится жить в слишком переменчивой обстановке и владение деревней по той, по другой стороной сделало их подозрительными.

Также суровы, угрюмы, нелюдимы деревни вятских крестьян, неохотно оказывающих вам приют и холодно провожающих вас дальше.

Перемена чувствуется сразу, как переезжаешь за Каму.

Началась Пермская губерния и словно другой, новый народ пошел.

Въезжаем в край, где широкой волной прокатились «красноармейские нравы».

— Ты любезный подумай, не озорники ли, не нечисть поганая, что у меня сделали, — шамкает беззубым ртом старуха, — выпасили две кадшки меда, — все мое богатство, — и вымазали им стены в избе... Потом разорвали перины и подушки и выпустили пух... Стены-то словно мохом покрылись...

— За что, старуха, они тебя так наказали?

— За сына, любезный, мстили... Сын у меня с солдатами добровольцем ушел. Озорством мстили...

— Поплапалась двумя кадками меда, да периной, — не велика беда, — перебивает старуху молодой парень, — вот в нашем селе попа «разделали», так действительно жуть берет.

Пришли они в село под вечер... Пономарь к всеночной бил... Увидел красных, да и ударь в набат... Красные к колокольне. Обстрел. Пономаря сшибли. Замолчал колокол. Ворвались в церковь. Поп неотступно служил. Взяли его в веревки. На его глазах разрушили алтарь, распасили золото, серебро и выпасив попа из церкви спали возить вокруг паперти за веревки. Кровь сочилась из разбитой головы, лица, рук. Увозили попа, — бросили и пошли в поповский дом. Были у него три дочери, все три девки молодые, красивые. Раздели их догола и заставили прислуживать у стола. Все поповы сокровища: варенье, мед, яблоки, пироги, — съели, посуду перебили, и напившись «кумышки», посадили одну из дочерей за пианино, заставив играть веселые песенки. На утро к селу спустился наш отряд, и пьяные красноармейцы разбежались. В разоренном

поповском доме на постелях нашли расперзанные при трупа поповских дочерей...

Это не «сгущенный» рассказ, не «суммирование итогов», а первый пришедший на память, из бесчисленного ряда случаев, рассказанных нам в пути.

Я убежден, что не только жители столиц, но и больших городов не представляют всего ужаса, заливающего Россию. Нужно быть в этих глухих местечках прифронтовой полосы, слышать рассказы от подлинных очевидцев, чтобы понять весь ужас и страх, испытываемые населением перед «движением» армии «красных», этого сброда опьяненных злобой и кровью преступных людей, захлебывающихся в кровавых кошмарах...

«Сашка Косой», знаменитый вор-рецидивист, убийца, пьяница и насильник, а ныне солдат какого-нибудь «коммунистического полка», прибывший из голодной губернии и охмелевший при виде местного обилия, — пробивает себе дорогу штыком все дальше и дальше, захлебываясь от разгула, препятствие которому он видит только, в преграждающей ему дорогу цепи войск российской армии.

Прорывая эту цепь и врываясь в деревню, он безумными глазами смотрит вокруг и его насильнические склонности уже не удовлетворяются простым, открытым грабежом, — он выполняет его с особым сладострастием...

С свистом и гиком, с шайкой «товарищей» влетает он в один, другой, третий дом и в одном ест мед, а потом смазывает им колеса телеги, в другом пьет «кумышку», в третьем меняет стоптанные сапоги на новые, в четвертом, охмелев, ломает граммофон, нанизывает на штык живьем курицу, гуся, индейку, и заканчивает свою оргию насилием над девками...

После набега красных деревня спонет от боли, от горя, от крови и я слышал этот стон разоренного края на протяжении всего пути...

### III.

Из Пермской губ. въезжаем в Уфимскую.

Реже села, чаще аулы с мечетями.

Маленькие татарские лошадки резвы и выносливы. Получив «посул на чай» татарин, взметнув длинным кнутом, — гонит лошадей без усталости...

Дорога идет, по ровной степью, по начинает вилять меж холмами.

Мупнееет холодный вечер и сереборогий серп вспаает на зеленеющем небе.

Татарин-ямщик запрянул горпанную песню с аллиперациями на эр. Он поет про степь, юрпу, спада кобыл и кумыс. В степи бродит испомное солнце, кобыл много, а ковыль качает своими мохнатыми серебряными головками.

Скрипят полозья, мороз щиплет лицо и кончики пальцев.

Мы едем расселинами меж двух холмов. За холмом виден минарет мечети.

И вот: мутный вечер, серп минарета, песня тапарина про жаркую степь кажутся нам каким-то сном. Нам кажется, что «где-то, когда-то» цвела жизнь, теперь же снится лишь сон с этой песнью и тапаринном, сменивший другой сон с гулом орудийной стрельбы, военными обозами, ранеными и постоянной нервностью прифронтовой обстановки...

Нам мучительно хочется проснуться и вернуться к «жизни», мы толкаем друг друга, щиплем и бьем себя, но сон крепок... Он продолжает безудержно разворачиваться дальше...

Сонные, мы въезжаем в аул. Муэдзин прокричал с минарета вечернюю молитву и два старых тапарина пропащились в мечеть.

В чистой избе на кошах и взбитых перинах готовя нам ночлег.

— У меня «красный» лошадь брал, — рассказывает тапарин, — паскал ее, гонял, все ноги ей обдирали... Бросил, — мне оставил свою, а на чужой ускакал... Я свою хрому подобрал, лечил, и он опять хороший стал... Теперь я двух лошадей запрягал...

#### IV.

Мы въезжаем рано утром, еще до восхода —

Слежу печальный серп луны

В лохматых тучах небосклона... —

И едем по разоренному краю, где сполуп деревни, села, аулы, где пишина лишь в степных перегонах, где люди измучены своеволием, страхом, свинцовой расправой и изголодались — по власти...

Мы едем по краям, где смешно было бы поднять вопрос о партийных группировках в массах, о классовом самосознании крестьянства, о политической ориентации и прочем, ибо люди эти слишком много вынесли на себе гнета, чтоб продолжать разбираться во всех этих «городских комбинациях»...

Им нужна власть, покой и порядок, чтоб можно было уйти к своей излюбленной черной, парной земле и, держа в мозолистых больших лапах плуг, — почувствовать себя преданными своему извечному делу и долгу...

И эти люди ничего, конечно, не понимающие в тонкостях политических ориентаций, — когда до них стали доходить первые вести о Верховном Правителе, то идея единоличного правления, сосредоточенного в руках заслуженного военного человека, сочувственно воспринималась их сознанием. Идея единоличного правителя соответствовала их запятой мысли о «хозяине земли»...

— Власть у всех, а значит ни у кого... Нужно, чтоб у власти был — хозяин... Только хозяин и может навести порядок...

Этого «хозяина» крестьяне ждут давно...

Я знаю крестьянские настроения последнего времени, ибо с момента въезда из Москвы, в начале лета, и до последних дней, был близок к крестьянам, и я не видел, чтобы какая-либо иная «ориентация» пришла им ближе, нежели последний сибирский переворот.

Наш петроградский умница В.В. Розанов слишком тонко чувствовал, сколь глубоко психологические корни идеи самодержавия в русском народе...

Крестьянин разбирается, что сибирский переворот далек от реставрации монархической структуры, но именно поэтому, что не чувствуя в нем самодержавного привкуса, а лишь видя осуществление идеи единоличного правления, так совпадающей с его представлениями об обще-государственном бытии, — оспаривается сочувствующим этому перевороту больше, нежели другим...

Я как раз в это время совершал свой медленный и трудный путь и мог воочию наблюдать за крестьянскими настроениями: это был спон уставших людей, жаждущих и ждущих прихода «хозяина» земли, сильного и властного, чтобы установить порядок, и при мысли, что, быть может этот «хозяин» пришел, — спон смягчался...

*На перепутьях — ноябрь — 1918 г.*

*Отечественные ведомости: Орган национальной и государственной мысли  
(Екатеринбург). № 35. 15(2) февраля. С. 2.*